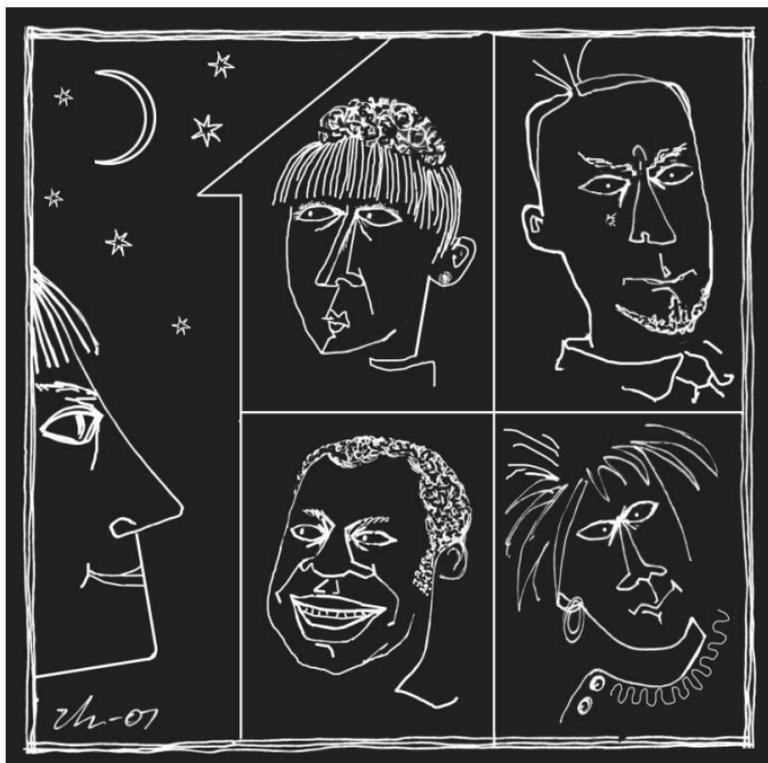


Женя Павловская
ОБЩЕ-ЖИТИЕ

Серия «Самое время!»

Сборник состоит из трех разделов: «В желтой субмарине», «Трудный ребенок» и «God Bless America». В рассказах уживаются и юмор, и лирика, и строки «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Книга называется «Обще-Житие» не только и не настолько потому что многие рассказы в первой части связаны с петербургским периодом, когда Женя Павловская училась в аспирантуре ЛГУ и жила в общежитии на Васильевском острове. Мы все связаны удивительным и маловероятным совпадением: мы современники. В какой части света бы мы ни жили — это наша общая жизнь, это наше Обще-Житие. Книга — об этом.

В ЖЕЛТОЙ СУБМАРИНЕ



Где подушка и чай — если даже
вдвоем —
Может быть, это кров — не всегда
это дом.

Я в рукав спрячу грусть,
Не уйду сгоряча,
Помолчу, поклонюсь
За нечаянный чай.

И забуду о том.
Средь потерь и даров
Не всегда бабе дом,
Хорошо, если кров.

ЗНАКОМЫХ НАШИХ ИМЕНА

Не плачьтесь Алексу в жилетку! Лучше уж позвоните Алику. В самом деле, вам ведь не надо, чтобы кто-то сломя голову мчался помогать — пусть просто посочувствуют, повздыхают. Восемьдесят процентов Аликов обаятельны, профессионально несостоятельны и знают тьму интереснейшего — лишь бы это не относилось к их профессии. Имя — ярлык времени, перст судьбы, строгий дирижер наш. Пользующийся именем «с чужого плеча» всегда как-то это ощущает и неопределенно мается. А порой подбирает что-то по себе... Человек, который здесь зовется Алексом, корректен, гладко выбрит и пахнет дорогим одеколоном. Помнит наизусть массу полезных телефонов и, уходя, не болтается в дверях, вспомнив в последний момент бородастый анекдот. Алекс сбросил, как смешную детскую байковую курточку, ласковое «Саша». Тем наипаче он не может функционировать в форме Алика, хоть по внешнему признаку своего имени мог бы так зваться. Саша-Алик-Александр. Алекс по сути своей «анти-алик». Алекс-телекс-дуплекс — и вся точная, бесшумная, без острых углов «хай технолоджи» в целом...

Давно один чуткий к словам и не очень добрый человек сказал, что «мое» имя — Нонна Георгиевна. Что-то уж слишком я горячо запротестовала тогда — явно не хотела признаваться в чем-то таком, что затаенно звучит в этом имени. Какое, позвольте, он имеет право меня как кроссворд разгадывать? Нет, я не забыла этого разговора за давностью лет — не такая уж это была чепуха... Изысканность и утонченность редко присуща Геннадиям. Нежного и нервного прозаика Геннадия Гора (мало кто его помнит, а жаль) вывозила его романтическая «гриновская» фамилия.

Детство. В комнате соседки, тети Маруси Ковалевой (абсолютно точное попадание имени и фамилии!) тайно проживали и шмыгали в ванну непрописанные «партизаночки» Зоя и Паня. У них был молчаливый грудной младенец и я, смышленное дитя войны, безо всяких объяснений знала, что нечего тут лезть с вопросами. Были ли они в самом деле партизанками, или это что-то вроде их коллективного прозвища? Как они попали в наш тыловой город? Я твердила про себя их странные имена-антиподы. «Зоя» звучало стеклянно и имело форму бумеранга или, скорее, остроконечного полумесяца на голове — как у Изиды. Тогда я ни о какой такой Изиде, конечно, и слыхом не

слыхивала. Но когда позже в учебнике истории я увидела узкую напряженную фигурку с хрупким полумесяцем на голове, мгновенно поняла: Зоя. И прочла «Изида». «Зоя», «Изида» — преобладание гласных над хрупко звучащими согласными. Звенящее и имеющее вид полумесяца, состоящего из двух полумесяцев, «З». «Паня» — наоборот, выпуклое, шершавое, деревенское, толстощеко-простоватое...

Помню красногалстучных, с туго заплетенными косами и чистыми ушками Сталин, дочек завучей и инструкторов райкомов, крепеньких, гордых носителей «политического» имени. После XX съезда они скачкообразно превратились в каких-то опереточных Стелл и утратили лицо. Некоторые скатились до Элл, Эльвир, Элин... Такое вот имятрясение для них стряслось... Курсом старше меня училась строгая сероглазая девушка Идея: «Идейка, пошли в буфет! Идейка, не опаздывай!», «Идейка-а-а!». Откликалась как миленькая.

Тощая и веснушчатая Лялька скакала во дворе в классики, на удивление ничем не примечательная. Тайну ее имени я узнала случайно. По какой-то причине мама взяла у домоуправа Егорова большую, разбухшую, с сальными углами домовую книгу, книгу тайн дома тридцать восемь по улице Дзержинской: кто где прописан, работа, год рождения, настоящее имя-отчество, национальность. Захватывающее чтение! Книга — источник знаний, кто же спорит? Егоров давал ее со скрипом, но случаи все ж бывали. Как только мама отправилась за хлебом, я хищно бросилась к Книге. Мы там были, конечно, тоже, и про нас было записано прямо и грубо: «евреи». И про Фридманов такое же. А хромого дядю Колю-водопроводчика, оказывается, зовут Нагим Исматулович и против его фамилии значилось линияло-фиолетово «тотарин». Сердитая Полина Дементьевна из шестой квартиры была на самом деле Пелагеей. Ага! Теперь я знаю ее секрет! Вот еще раз закричит на меня, так всем расскажу, как ее зовут!

А кто же это — Ванцетти Николаевна Чугунова из квартиры девятнадцать? Господи, да это же Лялька! Просто Лялька! Я еще вчера с ней в прятки играла и ничего такого про нее не знала! Лялька-то — Ванцетти!

В то время имена казненных в Бостоне итальянских анархистов Сакко и Ванцетти талдычились по радио сто раз на дню. Бесспорно, нашей прессе было бы много приятней, если бы они оказались неграми и одновременно коммунистами — но не всегда ж такое везение. Хорошо хоть так. Ненужные народу подробности газетами

умалчивались — главное, что их казнили в «кичащейся своей пресловутой демократией Америке». Из чего ясно следовало, что наша-то, советская демократия никак не пресловутая, а вовсе наоборот. Была даже кондитерская фабрика имени Сакко и Ванцетти, пекла пряники. Сакко в этом дуплете всегда упоминался первым. Я думаю, в целях благозвучия, чтобы тут же замять впечатление от неприличного «Сакко» вполне оперно звучащим «Ванцетти». А возможно, Сакко этот был в своем анархизме покоммунистичнее, чем Ванцетти. Или его просто казнили первым, и наша неподкупно честная пресса старалась сохранить этот порядок. Кто знает? Но, как ни говори, а Лялькина прогрессивная маман оказалась не вполне принципиальной, отвергнув для девчурки имя Сакко. Поволоклась на поводу у ложного украшательства.

Лялькина мамаша была «дама» — носила чернобурку на крепдешиновом платье с палевыми розами по голубому полю, острый алый маникюр, и с низкими грудными переливами голоса говорила: «мой поклонник» и «бельэтаж», а мне: «деточка»... Ее и звали — Лидия. Никогда и ни разу — Лидой, Лидочкой, Лидкой... В те времена похожих на кинозвезду Марику Рёкк дам-блондинок с пахнущими дорогой «Красной Москвой» чернобурками часто звали Клавдиями или Валентинами. Они сидели в бархатно-малиновом партере драмтеатра с военными. Роскошь пахла «Красной Москвой», одеколоном «Шипр» и скрипучей кожей мужественных портупей. Бедность — тухлой селедкой, керосином и ненавистной синей вигоневой кофтой с коричневыми сатиновыми заплатами на локтях. Однажды, забредя к Ляльке-Ванцетти домой, я обмерла от невиданной красоты: по голубому озеру плюшевой скатерти плыла овальная ладья шоколадного набора — с выпуклым кремовым бумажным кружевом по краям — зубчиками и дырочками. А сбоку-то! Ах, а сбоку! — золотенькие щипчики. Ими, наверное, надо было брать конфету, изящно отставив мизинчик с малиновым ноготком. Меня не угостили, да и не знала я, как такое едят. Ни изыски Фаберже, ни кузнецовские фарфоровые затеи не производили потом на меня такого ошеломляющего впечатления. А ведь Лялька считалась среди девчонок «бедной», у нее не было даже лысого целлулоидного пупса, даже самых простых дырчаторыжких с разлапыми рантами сандалет — это признавалось во дворе «чертой бедности». Мама запрещала мне ходить к ним

домой. Где ты сейчас, Лялька, — уж не помню лица, — как твое нелепое имя направило жизнь твою?

Во взрослом возрасте симметричный случай показался мне ожидаемым и закономерным. В тоскливом научно-исследовательском институте скучал младшим научным сотрудником плоско- и сероволосый комсомольский функционер — Толик, Валера ли — обладатель опасно шикарной фамилии Антонелли. С какой крыши это на него свалилось? Лелеял мечту подтянуться на ступеньку выше и выбиться в небольшие партийные вожди. «Красивое имя — высокая честь», но только, господа, с учетом обстоятельств. Я полагаю, что даже «Гренадская волость» в то вязкое время была бы незамедлительно переименована в Брежневскую, если бы испанцы свое счастье правильно понимали. Антонелли изловчился и стал Рюхин по матери. Обрел соответствие формы и содержания — на всех путях загорелись зеленые светофоры. Твори! Выдумывай, дурень, пробуй! Но вскоре после метаморфозы герой на ноябрьские напился в отделе водки с «Жигулевским», стал буен, сломал табурет и купленный на валюту западногерманский рефрактометр, с намеком кричал доктору наук Каплунскому: «Порядок, Львович, ты меня понннял?! Поррядочек в рядах! Кого надо — к ответу!» Пролетарская фамилия рвалась наружу, как перегретый пар. Карьера, не успев начаться, загремела под откос. «Я бы на его месте теперь обратно в Антонелли перекинулась. Нечего уж терять», — ехидно заметила Юлька Шапиро. С ее фамилией ей тоже терять было нечего, вот и язвила, как по маслу...

Аскольд Курицын — гениально звали нашего соседа по коммуналке. Был он вор в законе, профессиональный, серьезный, хорошей выучки домушник. Часто сидел, богатая татуировка, жилистые, с утолщением к плоскому ногтю руки умельца... Однажды с небрежной простотой маэстро он открыл нам какой-то ничтожной ковырялочкой захлопнувшийся массивный английский замок. За пять секунд управился, к ужасу моей матушки. Не думаю, что Аскольд глубоко страдал от несоответствия имени и фамилии. Однако роковым образом стилистическая непоследовательность, склонность к смешению жанров была присуща ему и в жизни. Как все-таки Аскольд, он был склонен к театральности. Рвался, как испанский гранд, зарубить подругу жизни Люську. Было за что: «шпана, сямка!» — смертно оскорбила она его, вора в законе. Аскольд упорно не воровал серебряные ложки, забывавшиеся нашей

растяпистой семьей на кухне, и даже проявлял заботу об их сохранности: «Уж вы, это... не бросайте ложки-то на кухне. Ко мне же, вы знаете, гости ходят...» Стараясь не материться и говоря от этого медленно и с натугой, Аскольд просил у моей мамы дать почитать Мопассана (откуда узнал?), считавшегося в те годы отчетливо порнографическим автором. Мама из тонких педагогических соображений Мопассана не давала, а подсовывала для смягчения Аскольдовых нравов сеттон-томпсоновские чувствительные «Рассказы о животных», от которых тот вяло отказывался.

С другой стороны, он, будучи несомненно Курицыным, часто и бездарно напивался и безо всякой фантазии гонялся с кухонным ножом за любым милиционером, попадавшим в поле его зрения, с воем: «Убью-у-у, падла!»

Почти вывелись по России еврейские имена. Называют младенца Андреем. В честь дедушки Абрама Самойловича. Отчего же тогда не Василием или Константином, например, в честь того же почтенного ребе Абрама? А все просто — в имени Андрей больше букв совпадает. Такая вот каббалистика и пифагорейство. Бородатые, с суровыми лицами Абрамы, Давиды да Самуилы порой встречались в вымирающих заволжских староверческих селах. На них эти имена смотрелись по-другому, и морщины располагались не лучиками от глаз, как у маминого родственника Семен-Соломоныча, а стекали вниз по щекам темными бороздами.

В конце семидесятых, на фоне взмывшей эмиграции и всенародной страсти ставить точки над «i» молодые джинсовые еврейские и полуеврейские супруги круто взяли лево руля — в сторону национальной гордости. Запищал в колясочке у московских отказников Натаниягу Мешков, хохоча гонялись друг за другом вокруг знаменитого ладиспольского фонтана подзагоревшие, голоногие Лиечка и Ревекка. Лиечка, как и положено, пушисто-рыженькая и острозубая — золотистый мышонок. А точеный профиль и мягко-тяжелое вороново крыло волос Ревекки, обводящее латинской «S» смугло-розовую щеку, были пересказом ее торжественного древнего имени.

Жаль, что американские имена для меня в подавляющем большинстве безличны — без вкуса, цвета и запаха. Кто не Джон, тот Джо, если, конечно, не Джек или Джим. Остальные — Джорджи или Дэвиды. Обаятельную преподавательницу английского языка звали именем, приличным для большой зеленой мухи: Баззи. Случайно

выяснилось, что ее настоящее имя Дэниэл. Данила, стало быть. Для дамы не очень-то, но уж лучше, чем Баззи...

Синтия — наша знакомая. С макушки до пят американка серьезного достатка и дизайна семидесятых годов — на поджарой фигуре болтающиеся фиолетово-оливковые одежды, отчетливо дорогие. Крупный накрашенный рот, гремучие металлические клипсы и бусы. Рассказываю ей о российских коммуналках, слегка смягчая подробности.

— Неужели даже дантисты живут там в «шелтерах»? Невероятно! — закатывает в ужасе глаза.

— Это не «шелтер» для бродяжек, Синтия. Это просто обычная квартира с соседями.

— Но они же, видимо, пользовались общей ванной! Кошмар!

— Не пользовались. Ванной не было.

Она мне, кажется, не поверила. Отнесла за счет обычной склонности диких народов к немотивированной лжи.

Приходит сияющая: «О, Джин (это я — Джин, ну пусть), в газете написано, что вашего Троцкого реабилитировали. Не прекрасно ли!» Огорчается — отчего это мне не прекрасно. Синтия. Естественно, с «ти-эйч», что русской транскрипцией не передать. Мама стала звать ее просто и понятно — Синяя. Синтии это, конечно, все едино, но мне почему-то было ее жаль. После проведенного урока фонетики она превратилась в Финфию. Того не лучше. Но на этом, как показал опыт, следовало остановиться. Однако мое дурацкое стремление к адекватности привело к тому, что я потратила еще полчаса на усиленные упражнения. Хищно щерилась, высовывала язык, мыча показывала пальцем на верхние зубы, наглядно прижимала к ним язык, сипела, как змей — вся эта клоунада в честь «ти-эйч» имела целью оградить леди от невольных оскорблений. В результате мама начала ее ласково называть Сцынтия, отказываясь при этом наотрез от дальнейших упражнений.

А вот маленькая история, основательно подпортившая мне детство — и только имя мое в этом виновато. В тот день соседка по парте Любка Гусева на первом уроке (география была) прошептала:

— Женька, я какой секре-е-ет знаю! Только дай чесно-пионерское, что никому. Ага? У нас в доме девчонка вчера в мальчишку превратилась.

— Врешь, не бывает.

— А вот и бывает! Вышла во двор стриженная и в штанах — полностью мальчишка. Вчера еще девчонкой была. Чесно-

сталинско, чесно-ленинско! А что ей? Шурка звали, ничего и менять не надо! Шурка — что мальчишка, что девчонка. Шурка, Шурка, и все — запросто!

Доводы были действительно гранитные — крыть нечем. И тихий страх проник в мою душу: ведь мое собственное имя, Женя — было в этом смысле ничем не лучше Шурки и несло в себе явную угрозу кошмарного перерождения.

— Люб, а это с каждым может случиться? — с замиранием сердца прошептала я.

— Конечно! — и захихикала, противная.

Что ей не хихикать! При таком-то имени на всю жизнь гарантия — девчонкой останешься, ни в кого не превратишься.

— Любка, а как это... ну, узнать, что уже мальчишка? Господи, вдруг я уже?

— Да уж узнаешь, — загадочно пообещала она.

В этот момент географиня по прозвищу «Нинка рыбий глаз», взвизгнув, трахнула кулаком по столу и поставила нас с Любкой стоять столбом. Как будто ее дурацкие разглагольствования, отчего бывает зима (от холода зима бывает!), мне сейчас важнее всей моей жизни. После звонка Любка со своим точным знанием куда-то ускакала, а я несколько лет маялась тайным страхом, пока прямые и неоспоримые факты не убедили меня, что при всей двусмысленности и шаткости моего положения (я еврейка, и у нас дома Сталина ненавидят; мой папа не военный, и дедушка, мечтающий «взять патент», почему-то не брал Зимний) все же я с женской ипостасью моего имени одержала победу над ипостасью мужской. Камень с души!

Смешно?.. Вам кажется, что имя — это просто сочетание звуков — журчащих, тягучих или резких? Нет, имя — это Слово. И насколько женская судьба Софьи, Сонечки спокойней, чем крутые петли сюжетов женщины Веры, где спотыкается «в», недолго льстит и ласкается «е», остановленное перекатом «р». Житейское лукавство Якова — и уступчивость звучания его имени. Цепкое упорство практичного Леонида. Если несколько раз медленно повторить это имя — оно зазвучит как надо, по-гречески. Заскрипит уключиной весла триремы тех простодушных времен, когда торговля и пиратство считались одним и тем же бизнесом... Ирины зачастую экстравагантнее Татьян и предпочитают серебряные украшения золотым. И неизвестно какую из многих очерченных так мощно ролей выбрать девочке Марии, Мари, Мэри, Мириам.

В ЖЕЛТОЙ СУБМАРИНЕ

Очень глубокое метро имени Ленина в городе Ленина, который нынче перекинулся в Санкт-Петербург Ленинградской области. А за завтра никто не поручится. Самая глубокая из станций — Василеостровская. Едешь-едешь-едешь к центру Земли. Уж что-то должно показаться — пора, давно покинули поверхность. Судя по глубине, должен быть ад уже. Но эта шутка чем-то неприятна. Монотонно наплывают и уплывают поперечные дуги на потолке, ничего внизу не показывается, только безнадежный белый скос уходящей вниз трубы, куда тебя черная лестница затягивает, всасывает, вбирает неумолимо, а ты стоишь покорно. Ах, лучше, лучше бы на трамвае. В следующий раз, если все обойдется, — только на трамвае! Вдруг вообще никогда этому спуску конца не будет? Поэтому на эскалаторе много упоенно, с закрытыми глазами, целующихся — особенно при спуске. Те, кому не с кем целоваться, отрешенно вглядываются в лица возвращающихся оттуда. Подымающиеся же, наоборот, суетны, полны разных мелких надежд и уже заранее входят в образ юрко ныряющего в магазинно-трамвайные завихрения пешехода — чего ради перед этим так целоваться? Или — еще глупее — ловить смутные взгляды спускающихся. Дел полно, жизнь и яркий день наверху, все еще открыто, можно еще успеть.

В самом конце, в жуткой глубине, не ад, а банная голубая плиточка, резиново-пресный метряной запах, безличный, больничный свет. Зеленоватые лица. Друг на друга не смотрим, отводим глаза. И не узнать никак, подходит ли уже поезд, — перрон глухо отгорожен от дороги черными железными створками. Отцеловавшиеся на эскалаторе, опустив руки, маются перед дверьми молча. Но есть надежда — железные двери с шипом разойдутся и — сливочный желтый свет вагона, дерматиновые диванчики, надышанное сбившимися в этом пенальчике людьми тепло — милый дом в непогоду. Туда, туда, скорее! Поехали!

«Василийостровск! След станц Гастиный двор! Две-е-ери закрываются!»

Всем нам в одном направлении. Неодобрительно читает новомирскую литературную критику ленинградская, вся в сером, интеллигентная дама. Двое одинакового роста, в одинаковых тертых джинсах, пегих сосулечках волос, очках, куртках и длинных грубовязаных шарфах, но отчего-то совершенно ясно — разнополю. Только непонятно, который

из них кто. Но это уже мелкие придирки, несущественные детали. Видимо, решением этого вопроса озадачен уставившийся на них маленький нежнолицый узбек в негнущейся шинели и наждачной кирзе. Ему бы золотой сафьян, мягкий, как губы коня, шелковые узорные одежды, волшебный темный рубин на узкую руку.

На сдвинутых острых коленках парочки магнитофон — с песнями следуем к станции «Гостиный двор». Битлы, что и следовало ожидать, но не слишком громко. «We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine». На парочку стержовно-педагогически косится сизая тетка с рекламной полиэтиленовой авоськой «Русский сувенир». Оттуда с мольбой и угрозой тянутся вверх синеперламутровые скрюченные когтистые пальцы, как будто она прибрела портативного Вия — русский такой сувенир. Принесет домой и сварит для семьи куриную лапшу — как хорошо и питательно! Плохо только, что молодежь разболтанная, неуважительная растет. Куда комсомол, куда семья смотрит? Патлы немытые, нечесанные. Девушки молодые — тьфу! — в штанах, зады обтянуты, целуются при всех как — стыдно сказать — проститутки. В молодежном журнале про половую, извините за выражение, жизнь расписывают. Срамотица! Как, бывало, красиво — косы с бантом, платьице скромное чистое, белые носочки. Дружили хорошо. Песни пели мелодичные про любовь. «На позицию девушка», «Синий платочек»... не то что эти... «ела суп Мари». Мари-то может и ела суп, а вот вы что, голубчики, наварите? Какой такой суп? Ведь к ним с добром, с советом, — куда там, и слушать не хотят. Что будет?..

Несется и подрагивает за окнами быстрая летучая горизонтальная чернота, отражая наши ставшие в дороге грустными и откровенными лица, — моментальный, текучий групповой портрет — вот оно, наше поколение, от станции до станции Невско-Василеостровской линии. Отраженные лица всегда красивее, чем в действительности.

Что такое? Свет в вагоне мигнул, вполовину притух, потом совсем поскучнел, и состав, завязнув в плотной темноте тоннеля, затормозил и стал. Кулем ваты обрушилась, оглушила тишина — не слышно уютного, как сигналы сердца, постукивания, нет успокоительного для горожанина гула налаженного безопасного движения. Только громче подростковыми надрывными голосами: «Ви ол лив ин э йеллоу сабмарин, йеееллоу сабмарин...» — ну что они понимают, ливерпульские лохматики, про нашу жизнь?

Интеллигентная читающая дама продолжала скептически улыбаться — постановка проблемы положительного героя в прозе последних лет ей решительно не нравилась.

В пещерной тишине битлы звучали кощунственно. Парочка, почуяв, выключила магнитофон. «Йеллоу сабмарин» — обиженно крикнули они в последний раз, и с крайнего сиденья — стало слышно — шепотом:

— Мама, скоро поедем?

— Скоро, детка.

— Как долго уже!

— Скоро, детка.

Действительно, долговато уже. Ненормально долго. Перестала улыбаться академическая дама, не прекращая пристально смотреть на страницу при беспомощном, обессилевшем свете. Замедлилось время. Остыло, подступило вплотную и стало давить пространство, подмявшее звуки. Хриплые голосовые связки жизни, щелястые вагонные динамики, подайте голос, утешьте! Не молчите, скажите скорее что-нибудь. Например, что жизнь будет продолжаться вечно. Что будет еще и будет восхитительная очередь за индийским чаем «со слоником» в раззолоченном Елисейском и всем достанется. Будет опять и улица, и подъезд с ласточкиными гнездами почтовых ящиков, и детский праздник взрослых Новый год, и старинный запах гобеленов в Эрмитаже, который сейчас так высоко над нами. Скажи, ну скажи, динамик, что громадное, пустое и удушливое, наполнившее, как белая вода, наш маленький беззащитный вагон — просто мелкая техническая неполадка, суцая чепуха, сейчас поедем. И эта первобытная, лишенная содержания чернота за окном, и оглушительная тишина — тьфу, какая чушь в голову лезет, нет-нет-нет, неправда — просто упало напряжение в сети на подстанции. Сейчас все исправят, скоро поедем.

Над хрупким кремовым потолком нашей коробочки — яичная скорлупка бетона, а выше — многотонной тушей навалилась и давит Нева. Стало душно, но нельзя расстегнуть пуговицы пальто — все увидят и поймут, как мне страшно. Напряженно устала в «Новый мир» дама. Не переворачивая «Известия» — вдруг зашуршит — замер, опустив глаза, толстый в очках. Не шевелясь застыла — колени к коленям — джинсовая парочка. Совсем жарко, стал мокрым лоб, но немисливо лезть в карман за платком. Не двигаться. Только бы тетка с курицей не закричала. Сколько же времени прошло? У каждого на руке часы, но нельзя на

них смотреть. Скорее всего, они остановились, но видеть этого не надо никому. Хотя и так все знают. Времени нет, мы вцепились в последнее мгновенье, мы удерживаем его, — оно такое хрупкое и тяжелое. Над нами — Нева или, может быть, уже ничто? А мы в этой коробочке — забавные мошки, впаянные навечно в пузырик янтаря. Под чью лупу попадем? Дурацкие мысли — конечно же, там нормальная Нева с мостами, над ней воздух, солнце, и живые птицы летают — все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо...

Молчат динамики, темнота стоит рядом, терпеливо ждет своего часа. Душно. Какое там время года — наверху? Сейчас кто-нибудь страшно закричит — это будет конец. Напрягшись, держим время, держим молчанье, как штангист держит вес — с налившимся темной кровью лицом. Только бы тетка с курицей... Но нет, не вскрикнет: маленький узбек вбил ей кляп своего жестко сфокусированного взгляда, загипнотизировал, заморозил тот вопль, от которого забьются, закричат все, и наступит хаос, кошмар, ужас, ничто. От этого визга упадет и рассыпется то, что мы молча держим на весу, и все кинутся к дверям и окнам, давя, кусая, страшно гримасничая. И то, о чем нельзя думать, явится жутким ликом. Но не моргает узкоглазый узбек, и тетка безвольно покачивается в такт вялым пульсациям своего мозга. Мертвая птица в ее сумке тянет лапы вверх, вопиет к куриному богу. Изо всех сил напрягается, сжимает свою сумочку сероглазая рыженькая рядом, даже побелели костяшки суставов. Желтыми яблоками ходят желваки на лице высокого с неприятным лицом... Со лба небритого Атланта в кожанке вьется струйка пота — тяжела Нева, набухает сердце от омертвевшего времени. Молчи, молчи, терпи, девочка в том углу, ничего не спрашивай, не надо. Не помогай, мы сами удержим, — только сиди тихо, только не вскрикни! Ты видишь — стараемся! Господи, дай нам сил!!!

Сколько угодно спустя, бесконечность спустя, полжизни спустя вагон легко вздрогнул, слабый резиновый ветер чуть тронул спасенную нами секунду, она проскочила скользкой таблеточкой, и поплыла назад чернота тоннеля. Тихо-тихо, медленно, осторожно и мягко покрались, поехали из-под Невы. Вытянули! И не общий вздох — а-а-ах! — общий выдох.

О чем нам теперь говорить? Да мы и незнакомы, собственно. Следующая станция — «Гостиный двор».

БЕЛЫЕ НОЧИ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

Постаревшие мои ровесники пожимают плечами: чего вы, милая, хотите от власти? Власть как обычно — порядка как не было, так и нет. Похоже, и не будет. А вот белые ночи стали не те, не узнать просто. А тогда были — ах, хороши! Советский Ленинград, обретающий ночами надменный лик имперской Северной Пальмиры, не спал. Мы с Ирккой тоже не спали. Как спать? — светло же. Лежали в халатах на наших общежитских, на наших аспирантских, на панцирных наших коечках и обсуждали «собачий», как выразилась Ирка, роман ее престарелого шефа с молодым настырным парторгом. Я предложила — исключительно с целью избежать двусмысленности — называть похитителя шефова сердца парторгиной или парторгессой. Кандидатка в члены партии Ира, не исключая для себя возвышение до аналогичных командных высот, отвергала и тот и другой термин как порочащие. С другой же стороны, многократно называла партийного лидера кафедры гадюкой семибатюшной, стервой и того еще почище.

О чем и разговаривать как не о любви в такую светлейшую ночь, когда наш Васильевский остров, «стерев случайные черты», легок и чист, как гравюра большого мастера и истончившаяся тень Блока бродит по набережным, боясь приблизиться к метро.

— Законной супружнице шефа, ты ж понимаешь, позвонил доброжелатель, та — скоренько бумагу в партком. Ну и поехало с орехами! Ожидается пикантная персоналка — парторг кафедры в роли женщины-вамп. Шарман манифик! — у Ирки был волнующий, с бархатной ленцой голос. Она дописывала диссертацию по теории пионерской символики. Об определяющей роли горна и отрядной песни в формировании миросознания строителя коммунизма. Была соответствующая кафедра в университете, где взбивали эту пену из воды и дерьма. Тем и жили. И под новым демократическим начальством тоже не растерялись — четко выполнили команду «кругом марш!» и продолжают в том же составе. Еще и за дешевле.

— Интересно, из партии масюню эту выпрут или только из парторгов? В любом случае карьере полная финита. Любовь — не вздохи на скамейке. Докторской не видать как своих ушей. Шеф — стреляный парниша, покается где надо, посулит кой-кому кое-что. Не впервой. А соблазнительницу — в оправдомы. И будет у нас на кафедре

маленькая, хорошенькая вакансия... Кому достанется, интересно...

— Мо-лод-цы! Ле-нин-цы! — провила я гнусаво. Партийно-производственный роман озлоблял.

— Антисоветчица ты. Издеваешься. И нарвешься, — вяло отреагировала Ирка. — Кроме того, зачем мои бигуди брала?

— Трри-четыре! Рраз-два! Кто шагает дружно в ряд? Кстати, почему если эту вашу кретинскую речевку проорешь ты, причем хамским тоном — то это пионерская символика и большая куча патриотизма, раз-два! А если, три-четыре, произнесу я — причем, заметь, тихо и вежливо. В отличие от пионервожатой, тихо, заметь, и вежливо — то выходит, что издеваюсь над большим вашим и чистым. Ты ж у нас, Ирина Сергеевна, на три четверти кандидат педагогических наук, — объясни мне такое жуткое единство противоположностей. А бигуди тебе как теоретику пионерского движения не нужны — душа должна быть, товарищ женщина, красивая. Ее на бигуди не накрутишь. И руки чистые, то есть без маникюра, тем более такого облезлого. Возьми у меня ацетон в тумбочке, сотри. Воспользуйся похищенной мною из лаборатории социалистической собственностью, я добрая.

Дразнить Ирку иногда было хорошо. Она грудью бросалась на амбразуру моей ереси. Особую приятность доставляли приводимые в посрамление меня примеры из жизни. Жизнь, усердно кивая, подобостратно подтверждала ее пионерчатые аксиомы, как будто она была ассистенткой их кафедры перед пенсией. У нас же, химиков, жизнь в форме неживой материи то и дело проявляла отчетливый сволочизм, не желая поддержать предлагаемую ей теорию. Грубо и нелюбезно... От этого развивались цинизм и злопыхательство. Но сегодня Ирка была какая-то вялая, политически малоазартная. Ветер в окно, далекие звуки с Невы, белая ночь, чужая недозволенная любовь... Возмутительно расслабляет.

В дверь постучали.

— Вот видишь! Уже за тобой в штатском пришли. Иди вот сама и открывай.

В дверь шагнул аспирант Бенджамин в штатском, с портфелем и двумя бутылками ноль семьдесят пять. Он твердо поставил бутылки на пол, сел и запел: «Этот день победы порохом пропах! Это сча-а-астье со слезами на глазах!» И вынул из портфеля за горлышко третью! «Со слезами на глазах», — повторил он речитативом и захохотал, как фальшивый Шаляпин. Ира медленно встала и сунула валявшийся на столе бюстгальтер под подушку.

— Веня, ты пьян? — задала она странный вопрос.

— Ирэн, ты знаешь, как я тебя уважаю, но со всей искренностью должен признать, что Женьку я уважаю еще больше, — уклончиво ответил ночной гость и снова разинул рот для пения.

Бенджамин уважал меня по двум причинам. Во-первых, однажды я внятно, грубо и примитивно разъяснила ему разницу между стандартным и нестандартным термодинамическим состоянием системы. Бенджаминова кафедра, а с нею и он, аспирант Вениамин Лисин, занималась повадками весьма вонючих, но перспективных в рассуждении защиты диссертации полимеров. Их давили высоким давлением, парили в атмосфере азота, подтравливали хлором. Строились графики, отражающие мученическую судьбу и гибель полимера.

Бенджаминов шеф Павел Олегович Ляпунов, поллабораторному Поля, был кокетлив в науке и желал нравиться. В те поры пошла мода на термодинамику. Без энтропии в свете было не показаться — откажут от дома. Раз такие дела — вздохнули и побрели коллективом по термодинамику. Коня, стало быть, и трепетную лань в одну телегу. Налаженная машина производства диссертаций засбоила. Теория высокомерно не желала сходиться с практикой. А практика, почуяв чуждую теорию, стала вставать на дыбы, рвать удила и шарахаться. «Атас! Полный распад теории Поля», — констатировал Гоша, который в рассказе больше нигде не появится. Я даже сначала хотела вымарать Гошу ради правильности построения сюжета. Но потом подумала: Гоша — это ружье, которое, бесспорно, не стреляет. Мне нравятся такие ружья. А сюжет — дело спорное. Таблица умножения, например, сюжетом по всем параметрам блещет. И стройность, и логика, и лаконизм, и узнаваемые персонажи, и развитие темы...

В то тяжкое для Бенжамина время я его и выручила, подсчитав ему кое-какие величины. Нет, не была я светочем науки и гением вселенской доброты. Я просто каждый день такие штуки считала от утра до темноты. Могла считать их в обмороке, в шоке, а также примеряя сапоги. Жалко мне, что ли, для своего брата-аспиранта пару констант прикинуть? Но он неожиданно зауважал мою ученость — из чего в сотый раз видно, что успех не адекватен усилиям.

Однако, по-настоящему Бенджамин оценил мои таланты на какой-то общежитской посиделке, когда я элементарно открыла бутылку портвейна без штопора. Завистливая Ирка в

ту же секунду отсекала слово «талант» и надменно отметила, что это по ихней науке классифицируется лишь как «знания и умения». Что ж — и это неплохо, берем! Всякий знает, что корковая пробка отделяется от бутылки так же неохотно, как душа от тела. Я обычно практиковала старый нижегородский способ: берете самый толстый том по теории марксизма-ленинизма, прикладываете к стенке («Марксизм-ленинизм к сте-е-енке», — говаривал при этом один такой Аркадий Сергеевич, обучавший меня этому приему), затем мягко, методично ударяете доньшком бутылки о заголовок. И тут гидродинамика и марксизм-ленинизм показывают свою силу и пробка с каждым толчком аккуратненько — тюк-тюк-тюк — любопытным зверьком вылезает из бутылочки. А когда она уж почти вся снаружи — элегантно закрутом легко вынимаете ее, делаете театральные жесты свободной рукой и собираете заслуженные аплодисменты. Наука нехитрая, и многие ее превзошли.

Но Бенджамин, хоть и был узкокопый брюнет разочарованного вида, однако происходил из Сибири, и многие достижения восточноевропейской цивилизации были ему в диковину. Метод потряс его. Ах, если бы я тогда знала!

— Со слезами на глазах, — допел Бенджамин и просто сказал: — Поздравьте, девки, у меня пошло! Назло пошло, когда уже не надо. На всю катушку прет эксперимент! Все данные ложатся четко в график. Но мне, сейчас все это дело на фиг! Аспирантуры-то осталось с гулькин нос! Коту под хвост ухлопал я два года!

— Ну поздравляем! Даже стихами заговорил! Как славно, Веничка! А то уж говорят, даже хотел жениться на какой-то с Обводного канала. Теперь Поля тебе продлит срок аспирантуры! И совсем не на фиг! Поэт ты наш! Поэт и ученый! — радостно залопотали мы с Ирккой.

— Это сча-а-астье с сединою на висках! Это ра-а-адость! — Бенджамин был далеко не Паваротти, уж не говоря о Киркорове.

— Веничка, хватит, ты уже нам спел. Ну стало все получаться — и хорошо, и отлично. И та, с Обводного канала, теперь нам тоже не нужна. Сырок плавленый хочешь с булкой? — попробовала Ирка перевести разговор в бытовую плоскость.

— Ты в ответ на обеща-а-анья дверь не отво-о-ооря-йя, — уже совершенно безо всякой логической связи с происходящим, оперно закатив глаза, проорал Бенджамин. — Евгения, смотри, как надо! — вдруг быстро сказал он, взял

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru